

Томас Манн

**Собрание сочинений в десяти
ТОМАХ**

Том VII

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82-3
ББК 84
М23

Манн Т.
М23 Собрание сочинений в десяти томах: Том VII / Томас Манн – М.: Книга по Требованию, 2021. – 469 с.

ISBN 978-5-458-45880-1

Настоящее издание представляет собой собрание сочинений известного немецкого писателя-прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1929) Томаса Манна (1875–1955). В собрание входят все известные произведения автора за исключением романа «Иосиф и его братья».

ISBN 978-5-458-45880-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Признаюсь, речи этого странного господина привели меня в полное замешательство, и я опасаясь, что и сейчас еще не в состоянии буду передать их таким образом, чтобы они на других подействовали так же, как в тот вечер — на меня самого. Быть может, их воздействие объясняется единственно той странной откровенностью, с которой высказался передо мной совершенно незнакомый человек.

В осенний день, около полудня, на площади св. Марка, этот незнакомец впервые привлек мое внимание месяца два назад. На обширной площади народу было совсем немного; поверх пестрого, волшебного здания, пышные, сказочные очертания и золотые украшения которого пленительно-ясно обрисовывались на фоне бледного, светло-голубого неба, реяли флаги, колеблемые легким морским ветерком; как раз перед главным входом молодую девушку, рассыпавшую зерна маиса, окружило несметное множество голубей, и со всех сторон туда же слетались новые стайки. Зрелище несравненно лучезарной, ликующей красоты.

Вот тогда я встретился с ним, и теперь, в то время как я пишу, он необыкновенно отчетливо стоит у меня перед глазами. Он едва достигал среднего роста и шаггал быстро, слегка сутулясь, обеими руками придерживая трость на спине. На нем был черный котелок, светлое летнее пальто и темные брюки в полоску.

Почему-то я принял его за англичанина. Ему могло быть лет тридцать, а то и все пятьдесят. Лицо с несколько утолщенным носом и серыми усталыми глазами было гладко выбрито, вокруг рта постоянно играла непонятная, растерянная улыбка. Лишь время от времени он, вскидывая брови, обводил пытливым взглядом все вокруг, а затем снова потуплялся, бормотал про себя несколько слов, покачивал головой и усмехался. Так он упорно расхаживал по площади.

С той поры я наблюдал его изо дня в день — ведь он, по-видимому, только тем и занимался, что в хорошую ли, в дурную ли погоду, до и после полудня тридцать, если не пятьдесят раз подряд прохаживался взад и вперед по площади, всегда один, всегда все с той же странной повадкой.

В тот вечер, который я имею в виду, на площади играл военный оркестр. Я сидел за одним из столиков, которыми заставлена часть площади перед кафе Флориани, и когда, по окончании концерта, толпа, до того времени сплошными потоками двигавшаяся в разных направлениях, начала редеть, незнакомец, как всегда улыбаясь с отсутствующим видом, сел за один из освободившихся подле меня столиков.

Время шло, вокруг становилось все тише, всюду, куда ни обращался взгляд, столики уже опустели. Лишь изредка мимо нас ленивым шагом проходил кто-нибудь; величавая тишина снизошла на площадь, небо покрылось звездами, над великолепным в своей театральности фасадом собора св. Марка стояла ущербная луна.

Сидя спиной к соседу, я читал газету и уже собрался было оставить его одного, как вдруг мне пришлось изменить позу и сесть вполоборота к нему; ибо если до той минуты он даже легким шорохом не давал знать о своем присутствии, теперь он заговорил.

— Вы вперые в Венеции, сударь? — спросил он на дурном французском языке; а когда я попытался, как умел, ответить ему по-английски, он перешел на безукоризненную немецкую речь, говоря тихим, хрипловатым голосом и часто покашливая, чтобы сделать его чище.

— Вы все это видите впервые? И оно оправдало ваши ожидания? Быть может, даже превзошло их? А! Вы не воображали всего этого более прекрасным? Правда? Вы говорите так не только для того, чтобы казаться счастливым и достойным зависти? А! — Он откинулся на спинку стула и вперил в меня взгляд, часто моргая; выражение его лица было совершенно непонятно мне.

Наступившая вслед за тем пауза оказалась длительной, и, не зная, как продолжить этот странный разговор, я снова собрался было встать, но он торпливо подался вперед.

— Знаете ли вы, сударь, что такое разочарование? — спросил он тихо и значительно, обеими руками упираясь в свою палку. — Не то что неуспех, неудачи в мелочах, в частности, а великое, всеобъемлющее разочарование, то разочарование, которое человеку доставляет совокупность всего, вся жизнь? Вам, наверно, оно неведомо. А мне оно сопутствовало с юных лет, оно-то и сделало меня одиноким, несчастным и несколько чужаковатым, я этого не отрицаю... Разве вы могли бы сразу понять меня, сударь? Но, пожалуй, поймете, если я попрошу вас внимательно послушать меня минуты две. Ведь если только это возможно высказать, оно будет сказано быстро.

Разрешите мне упомянуть, что я вырос в крохотном городишке, в пасторском доме, в невообразимо опрятных комнатах которого все дышало старомодным, патетическим, педантски-ученым оптимизмом, царила атмосфера своеобразной проповеднической риторики, — атмосфера тех обозначающих добро и зло, прекрасное и уродливое высоких слов, которые я так ненавижу, потому что, быть может, они, они одни повинны в моем страданье.

Вся жизнь слагалась для меня из высоких слов, ведь я ничего не знал о ней, кроме тех необъятных, беспредметных предвестий, которые порождались во мне этими словами. От людей я ждал божественно благого и омерзительно дьявольского; от жизни я ждал пленительно-прекрасного и чудовищного и весь

был охвачен страстным желанием все это испытать; глубоко и тревожно томился я по беспредельной действительности, по неведомым, безразлично каким переживаниям, по опьяняюще волшебному счастью и несказанному, невообразимо жестокому страданию.

Мне, сударь, со скорбной ясностью запомнилось первое разочарование моей жизни, и я прошу вас отметить, что оно было вызвано не крушением прекрасной надежды, а неким бедствием. Я был почти еще ребенком, когда ночью в родительском доме вспыхнул пожар. Огонь распространился коварно, исподтишка, весь небольшой нижний этаж до самой двери в мою комнату был охвачен пламенем, оно уже добиралось до лестницы. Я первый увидел его и твердо знаю, что тотчас помчался по всему дому, неумолчно вопя: «А ведь горит! А ведь горит!» Я совершенно точно помню этот возглас, и я знаю также, каким чувством он был у меня исторгнут, хотя в ту минуту я вряд ли осознавал это чувство. «Это и есть пожар — то, что я сейчас переживаю! — такое у меня тогда было ощущение. Разве он не страшнее? Это все?»

Видит бог, дело было нешуточное; дом сгорел до основания, мы все едва спаслись от гибели, меня самого сильно изувечило. Также неверно было бы сказать, что мое воображение, предварив события, нарисовало мне пожар родительского дома в более ужасающем виде. Но смутная догадка, неясное представление о чем-то неизмеримо более страшном уже ранее жило во мне, и по сравнению с ним действительность показалась мне бледной. Пожар был первым моим сильным переживанием; оно разочаровало меня в некоей чудовищной надежде.

Не бойтесь, что я буду рассказывать вам о каждом из моих разочарований в отдельности. Я ограничусь немногим и скажу, что те великие ожидания, которые я возлагал на жизнь, я с пагубным усердием питал тысячами книг: творениями поэтов. Ах, я научился ненавидеть их, этих поэтов, исписывающих все стены своими высокими словами, которые они, будь на то их воля, начертали бы в небесах, взяв для этого кедр и окунув его в горловину Везувия, тогда как я,

наоборот, способен воспринимать любое высокое слово только как ложь или как издевку!

Восторженные поэты пели мне, что язык человеческий беден, увы и ах, беден. О нет, сударь! Язык, думается мне, богат, невероятно богат по сравнению со скудостью и ограниченностью жизни. Боль имеет свой предел: для боли физической — это потеря сознания, для боли душевной — оупение; со счастьем обстоит не иначе! Но потребность человека в общении изобрела звуки, обманом переносящие нас за эти пределы.

Во мне самом ли тут дело? Неужели только у меня от определенных слов дрожь пробегает по спинному хребту и мне смутно чудятся переживания, которых вообще не бывает?

Я вступил в пресловутую жизнь полный этой жажды одного, одного-единственного переживания, которое отвечало бы моим великим надеждам. Видит бог, оно не стало моим уделом! Я много странствовал, задавшись целью посетить самые прославленные места на свете, узреть те творения искусств, вокруг которых человечество пляшет под звуки самых пышных слов; я стоял перед ними и говорил себе: «Да, это прекрасно. И все-таки: разве это не может быть еще прекраснее? Это все?»

Я не способен воспринимать вещественное. Этим, быть может, все сказано. Где-то в горах, уж не помню где именно, я однажды стоял у глубокого ущелья. Скалистые стены его были голы, отвесны, внизу горный поток бурлил среди каменных глыб. Я смотрел вниз и думал: «А что, если я сорвусь?» Но я обладал достаточным опытом, чтобы ответить: «Случись это, я, падая, сказал бы себе: теперь ты катишься в пропасть, теперь это факт! Что же это, в сущности, такое?»

Поверите ли вы, я пережил достаточно, чтобы иметь право кое-что высказать на сей счет! Некогда я любил девушку — нежное, прелестное создание; я с радостью предложил бы ей руку и взял бы под свою защиту, но она меня не любила, это не удивительно, и другому довелось стать ее защитником...

Есть ли переживание более скорбное? Пытка более ужасная, чем это горькое страдание, жестоко смешанное со сладострастием? Много ночей лежал я с открытыми глазами, и печальнее, мучительнее всего остального была неотвязная мысль: «Это и есть великая скорбь? То, что я сейчас переживаю! Что же это, в сущности, такое?»

Нужно ли рассказывать вам и о моем счастье? Ибо и счастье тоже меня разочаровало... Нет, не нужно: ведь все это — топорные примеры, которые не пояснят вам, что разочаровала меня вся жизнь в целом, в совокупности, весь ее заурядный, неинтересный и вялый ход; вот чем я разочарован, разочарован неизменно.

«Что такое, — пишет однажды Вертер, — человек, этот прославленный полубог? Разве силы не изменяют ему именно тогда, когда они ему всего нужнее? А когда его окрыляет восторг или теснит скорбь, — разве не останавливают его и не возвращают ему тусклое, холодное сознание именно в тот миг, когда он мечтал слиться с бесконечностью?»

Я часто вспоминаю день, когда увидел море впервые. Море велико, море огромно, я с берега вперял в него взгляд и надеялся на освобождение — но там вдали был горизонт. Почему меня замыкает горизонт? Я ждал от жизни бесконечного.

Быть может, мой горизонт более узок, чем горизонт других людей? Я уже говорил, я не способен воспринимать вещественное. Или, быть может, я слишком остро его воспринимаю? Слишком скоро выдыхаюсь? Слишком быстро пресыщаюсь? Познаю счастье и горе только в самой низшей их степени, только в разреженном виде?

Я этого не думаю; и не верю людям, менее всего верю тем, кто перед лицом жизни вторит высоким словам поэтов, — это трусость и ложь! Впрочем, случилось ли вам, сударь, приметить следующее: есть люди, столь суетные и столь жадно алчущие высокого уважения и тайной зависти окружающих, что они лживо уверяют, будто в их жизни прозвучали только высокие слова счастья, но не страдания?

Смеркается, и вы уже едва слушаете меня; поэтому я хочу сегодня еще раз признаться себе в том, что и я, я сам некогда пытался лгать, чтобы перед самим собой и другими выставить себя счастливым. Но уже немало лет прошло с того времени, как эта суетность рухнула и я стал одиноким, несчастным и несколько чудаковатым, я этого не отрицаю.

Мое любимое занятие — по ночам созерцать звездное небо; ведь это наилучший способ отвлечься от земли и от жизни, не так ли? И, быть может, простиительно, что я при этом всячески стараюсь сохранить хотя бы мои былые надежды? Мечтать об освобожденной жизни, в которой великие предвестия стали бы реальностью, не оставляя мучительного осадка разочарования? О жизни, в которой уже не было бы горизонта?

Я мечтаю об этом и дожидаюсь смерти. Ах, я уже так хорошо ее знаю: смерть — это последнее разочарование! «Это и есть смерть? — скажу я себе в последнюю минуту. — То, что я сейчас переживаю? Что же это, в сущности, такое?»

Но на площади уже посвежело, сударь, это я способен ощутить, хе-хе! Разрешите почтительнейше откланяться! Прощайте!

МАЛЕНЬКИЙ ГОСПОДИН ФРИДЕМАН

Виною всему была кормилица. Напрасно госпожа консульша Фридеман, едва ощутив подозрение, увещевала ее бороться с этим пороком. Напрасно этой особе, кроме питательного пива, ежедневно подносили еще по стаканчику красного вина. Оказывается, она не гнушалась даже спиртом, заготовленным для спиртовки, и, прежде чем ее рассчитали, прежде чем нашли другую, — несчастье свершилось. Когда мать с тремя дочками-подростками вернулась с прогулки домой, маленький Иоганнес, которому едва ли был месяц от роду, лежал на полу, свалившись с пеленального стола, и безнадежно-тихо кряхтел, а кормилица стояла рядом, осоловело уставившись на него.

Доктор, бережно и настойчиво исследовавший маленькое, судорожно корчившееся тельце, принял озабоченный, очень озабоченный вид, три сестрички всхлипывали, забившись в угол, а мать в сердечной своей тоске громко молилась.

Бедная женщина еще носила дитя под сердцем, когда от столь же внезапного, сколь и неизлечимого недуга скоростижно скончался ее супруг — нидерландский консул; что-то в ней надломилось, она во всем изверилась и теперь не надеялась сохранить маленького Иоганнеса. Но спустя два дня доктор, обнадеживающе пожимая ей руку, объявил, что непосредственная угроза миновала, легкое сотрясение мозга, а это главное, прошло, что явствует хотя бы из

взгляда ребенка, отнюдь не бессмысленно остановившегося, как вначале... Разумеется, надо запастись терпением, проследить за дальнейшим ходом... и уповать на лучшее... да, уповать на лучшее...

Серый дом с двускатной островерхой крышей, в котором проходило детство Иоганнеса Фридемана, был расположен у северных ворот старинного торгового городка. Из просторных сеней, выстланных каменными плитами, наверх вела лестница с белыми деревянными перилами. В гостиной на втором этаже шпалеры были затканы поблекшими от времени ландшафтами, а вокруг тяжелого стола красного дерева, покрытого пунцовой бархатной скатертью, чинно стояли кресла с жесткими прямыми спинками.

В детстве он часто сживал здесь у окна, за которым цвели прелестные цветы, сживал, примостившись на низенькой скамеечке, у ног матушки, созерцая ее, разделенные ровным пробором, седые волосы и нежное доброе лицо, вдыхая едва слышный аромат, всегда исходивший от нее, и, затаив дыхание, внимал волшебной сказке. А не то Иоганнес разглядывал портрет отца, господина с приветливым лицом и седыми бакенбардами. Он на небе, говорила матушка, и ждет их всех к себе.

За домом был маленький сад, где они проводили летом добрую половину дня, невзирая на приторно-сладкий чад, доносившийся с расположенного поблизости сахарного завода. Старый суковатый орешник рос там, и маленький Иоганнес обыкновенно сидел в его тени, на низком деревянном креслице, и грыз орехи, а мать и три его уже взрослые сестры располагались под серым парусиновым тентом. Но глаза матери часто отрывались от рукоделия, чтобы с печальной ласкою скользнуть по ребенку.

Он не был хорош собою, маленький Иоганнес, с его острой высокой грудью, выпуклой спиной и несоразмерно длинными, тощими руками, и когда он, вот так прикорнув на креслице, ловко и проворно грыз орехи, то являл собой достаточно странное

зрелище. Но у него были узкие, безукоризненно изящные ноги и кисти рук, большие золотистые глаза, нежно очерченный рот, русые волосы. И хотя лицо Иоганнеса было так жалостно сдавлено плечами, его можно было назвать почти красивым.

Когда мальчику исполнилось семь лет, его определили в школу — теперь годы потекли быстро и однообразно. Каждый день с забавной важностью, так часто отличающей горбунов, вышагивал он мимо островерхих зданий и лавок в старую школу с готическими сводами, а дома, приготовив уроки, то ли читал свои книжки в нарядных, пестрых переплетах, то ли возился в садике, в то время как сестры помогали по хозяйству прихварывавшей матери. Они выезжали и в свет — семейство Фридеманов принадлежало к сливкам городского общества, однако замуж девицы, увы, не выходили, ибо были небогаты и достаточно дурны собой.

Иоганнесу тоже случалось получать приглашения от своих сверстников, но общение с ними не сулило ему больших радостей. Он не мог принимать участия в их играх, они же в его присутствии всегда испытывали какую-то напряженную неловкость, и поэтому настоящая дружба не завязывалась.

Пришло время, и на школьном дворе, при Иоганнесе, часто стали заводить разговоры определенного свойства. Настороженно, раскрыв глаза, выслушивал он пылкие излияния, касающиеся той или иной девочки, и молчал. «Пусть другие только и думают что о девчонках, — говорил он себе, — для меня это недоступно, так же как метание мяча и гимнастические упражнения». Порою он испытывал грусть, но постепенно свыкся с тем, что должен жить сам по себе, не разделяя интересов других мальчиков.

И все же случилось, что Иоганнес — шестнадцать лет от роду было ему тогда — влюбился в девочку, в свою сверстницу. Это была сестренка его соученика — светловолосое, необузданно-резвое создание, и познакомились они у ее брата. Вблизи нее Иоган-